

ИТТН

роман

Рейчел Каск

Контур

Рейчел Каск

Контур

«Ад Маргинем Пресс»

2014

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)6-44

Каск Р.

Контур / Р. Каск — «Ад Маргинем Пресс», 2014 — (Контур)

ISBN 978-5-91103-526-6

Роман современной канадско-британской писательницы Рейчел Каск (род. 1968), собравший множество премий, состоит из десяти встреч и разговоров. Нестерпимо жарким летом в Афинах главная героиня, известная романистка, читает курс creative writing. Ее новыми знакомыми и собеседниками становятся соседи, студенты, преподаватели, которые охотно говорят о себе – делятся своими убеждениями, мечтами, фантазиями, тревогами и сожалениями. На фоне их историй словно бы по контрасту вырисовывается портрет повествовательницы – женщины, которая учится жить с сознанием большой потери. «Контур» – первый роман трилогии, изменившей представления об этой традиционной литературной форме и значительно расширившей границы современной прозы. По-русски книга выходит впервые.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)6-44

ISBN 978-5-91103-526-6

© Каск Р., 2014
© Ад Маргинем Пресс, 2014

Содержание

I	6
II	15
III	21
IV	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Рейчел Каск

Контур

Copyright © 2014, Rachel Cusk

All rights reserved

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2021

I

Перед вылетом я получила приглашение в лондонский клуб на обед с миллиардером, имевшим, как меня заверили, либеральные взгляды. Он сидел в рубашке с расстегнутым воротом и рассказывал о программном обеспечении, которое разрабатывал, – с его помощью организации смогут отслеживать сотрудников, с наибольшей вероятностью способных их ограбить или предать в будущем. Мы должны были обсудить литературный журнал, который он собирался издавать, но мне, увы, пришлось уехать в аэропорт раньше, чем мы дошли до этой темы. Он вызвал для меня такси, что пришлось кстати – я уже опаздывала, да и чемодан был тяжелый.

Миллиардер явно желал контурно обрисовать для меня историю своей жизни, которая начиналась малообещающе и заканчивалась – очевидным образом – тем, как он стал раскованным, состоятельным мужчиной, сидевшим теперь напротив меня. Я задумалась, не хочет ли он теперь сам стать писателем и не потому ли намеревается издавать журнал. Писателями хотят стать многие, и нет причин думать, что пропуск в мир литературы нельзя купить. Сколько раз он уже доказал, что деньги – это ключ к любой двери и выход из любой ситуации. Он упомянул, что работает над схемой, которая позволит людям решать личные вопросы без вмешательства юристов. Потом рассказал о проекте плавучей ветряной электростанции, где сможет жить весь обслуживающий ее персонал: гигантская платформа расположится далеко в море, и безобразные турбины не будут портить вид берега, откуда он собирается запустить свой экспериментальный проект и где у него, к слову, есть дом. По воскресеньям в качестве хобби он играет в группе на барабанах. Они с женой ждут одиннадцатого ребенка – правда, это звучит не так плохо, если учесть, что однажды они усыновили четверых близнецов из Гватемалы. Я с трудом успевала осмыслить всё, что он рассказывал. Официантки постоянно подавали новые и новые блюда: устрицы, закуски, особые вина. Он то и дело отвлекался, как ребенок, которого заваляли рождественскими подарками. Сажая меня в такси, он пожелал мне удачи в Афинах, хотя я не помнила, чтобы говорила ему, куда лечу.

На поле в Хитроу полный самолет людей в молчании ждал взлета. Стюардесса стояла в проходе и разыгрывала со своим реквизитом пантомиму под аудиозапись инструктажа. Мы все, незнакомые друг с другом пассажиры, сидели, пристегнувшись к креслам, в такой тишине, какая царит во время литургии. Она показала нам спасательный жилет с трубочкой, аварийные выходы, кислородную маску на длинном прозрачном шланге. Она рассказала нам о возможной катастрофе и гибели, как священник в подробностях рассказывает прихожанам об устройстве чистилища и ада, но никто не ринулся к выходу, пока еще не слишком поздно. Вместо этого мы слушали, кто внимательно, а кто вполуха, думая о другом, как будто формальность рассказа о нависшем над нами роке притупила наши чувства. Когда голос на аудиозаписи дошел до кислородных масок, никто не нарушил тишину, не запротестовал и не высказал свое возмущение заповедью, гласившей, что человеку положено сначала позаботиться о себе и только потом – о других. У меня же она вызывала сомнения.

Сбоку от меня в кресле развалился смуглый мальчик, быстро елозивший пухлыми большими пальцами по экрану игровой консоли. С другой стороны сидел небольшого роста мужчина в светлом льняном костюме, сильно загорелый, с серебряной копной волос. Снаружи набухший летний день недвижно лежал на взлетной полосе; маленькие служебные машинки носились по плоской поверхности, скользя, лавируя и кружась, как игрушечные, а вдалеке виднелась серебряная нить шоссе, которое бежало и сверкало на солнце, словно ручей, зажатый с боков однообразными полями. Самолет пришел в движение и покатился вперед, оживив застывший пейзаж за окном, который сначала плыл медленно, а затем всё быстрее и быстрее, и вот наконец мы тяжело, неохотно оторвались от земли. На мгновение показалось, что самолет не сможет взлететь. Но он взлетел.

Мужчина справа повернулся ко мне и спросил, с какой целью я лечу в Афины. Я сказала, что по работе.

– Надеюсь, вы поселитесь у моря, – сказал он. – В Афинах сейчас очень жарко.

Боюсь, что нет, сказала я, и он поднял серебристые брови, которые росли неожиданно буйно и беспорядочно, словно трава на скалах. Именно его чужаковатость и побудила меня вступить в разговор. Неожиданное иногда легко принять за знак судьбы.

– В этом году жара пришла рано, – сказал он. – Обычно это случается гораздо позже. Ее тяжело переносить с непривычки.

Свет в трясущемся салоне судорожно мерцал; слышалось, как открываются и захлопываются двери, что-то ужасно гремит, люди ерзают, разговаривают, встают с места. Через громкоговоритель раздавался мужской голос; доносился запах кофе и еды; стюардессы целеустремленно вышагивали туда-обратно по узким проходам, устланным коврами, и слышно было, как шуршат их нейлоновые чулки. Мой сосед сказал, что летает этим маршрутом один-два раза в месяц. Раньше у него была квартира в Лондоне, в Мейфэре.

– Но в последнее время, – сказал он сухо, – я предпочитаю жить в Дорчестере.

Он говорил интеллигентно и формально, и в этой манере чувствовалась некоторая неестественность, как будто английский язык аккуратно нанесли на него кистью, словно краску. Я спросила его, откуда он родом.

– Меня отправили учиться в английскую школу-интернат, когда мне было семь, – ответил он. – Можно сказать, я англичанин по повадкам и грек по духу. Мне часто говорят, что наоборот вышло бы куда хуже.

Его родители греки, продолжал он, но в какой-то момент переехали всей семьей – они сами, четыре сына, их собственные родители и дяди с тетями в придачу – в Лондон и зажили, как подобает английскому высшему обществу: отправили четырех сыновей учиться и принялись обзаводиться полезными связями, приглашая к себе домой нескончаемую череду аристократов, политиков и успешных дельцов. Я спросила, как им удалось влиться в чужую среду, на что он пожал плечами.

– Деньги – это отдельная страна, – сказал он. – Мои родители владели судами; семейный бизнес был международным, хотя до сих пор мы жили на маленьком острове, где оба они родились. Вы точно не слышали о нем, хотя в непосредственной близости от него много известных туристических мест.

– Близости, – сказала я. – Наверное, вы имели в виду «близости».

– Прошу прощения, – сказал он. – Конечно, я имею в виду «близости».

Как и все богачи, продолжал он, его родители давно уже оторвались от корней и стали частью многонационального сообщества видных и состоятельных людей. Разумеется, они сохранили за собой поместье на острове, которое оставалось их основным местом жительства, пока дети были маленькими, но, когда пришло время отправить сыновей в школу, они переехали в Англию. Там у них имелись многочисленные связи, и благодаря некоторым из них, сказал мой сосед с долей гордости, они оказались чуть ли не у порога Букингемского дворца.

Их семья всегда была самой именитой на острове: брак его родителей объединил две ветви местной аристократии, а кроме того, благодаря ему слились два судходных бизнеса. Но у этих мест была одна особенность: там царил матриархат. Власть принадлежала не мужчинам, а женщинам; собственность передавалась не от отца к сыну, но от матери к дочери. Атмосфера в семье из-за этого была напряженной, сказал мой сосед, но это стало только началом проблем, с которыми он столкнулся по приезду в Англию. В мире его детства рождение мальчика само по себе уже было разочарованием, а с ним самим, последним в череде таких разочарований, обращались особенно неоднозначно: мать желала видеть в нем девочку. Его заставляли носить платья и длинные кудри и называли женским именем – тем, которое его родители выбрали для долгожданной наследницы. Причины этой необычной ситуации, сказал мой сосед, уходят кор-

нями в древность. Исконно экономика острова держалась на добыче морских губок, и местные молодые люди были превосходными ныряльщиками. Однако это опасная профессия, и жили они в среднем недолго. Поскольку мужья умирали рано, женщинам приходилось самим вести финансовые дела и, более того, передавать их по наследству своим дочерям.

– Сложно себе представить, – сказал он, – каким был мир в золотые дни моих родителей: щедрый на удовольствия – и в то же время безжалостный. Пятый ребенок в нашей семье, тоже мальчик, при рождении получил травму мозга, и, когда мы переехали, его просто оставили на острове на попечение сменяющих друг друга нянек, чью компетентность – в то время и с такого расстояния, – боюсь, никто не удосуживался проверять.

Он так и остался жить там – стареющий мужчина с разумом младенца, неспособный, конечно, поведать эту историю со своей точки зрения. Тем временем мой сосед и его братья вступили в студеные воды английского частного образования, где их учили думать и говорить, как английские мальчики. От кудрей мой сосед с облегчением избавился, но впервые в жизни столкнулся с жестокостью, а вместе с ней и с другими прежде неведомыми ему несчастьями: одиночеством, тоской по дому, по матери и отцу. Он пощупал нагрудный карман пиджака и достал черный кошелек из мягкой кожи, откуда извлек мятую черно-белую фотографию своих родителей. Мужчина в приталенном сюртуке, застегнутом на пуговицы до горла, держался очень прямо, а чернота его разделенных на пробор волос, густых прямых бровей и больших закрученных усов придавала ему необычайно свирепый вид; круглое лицо женщины рядом с ним, неулыбчивое и непроницаемое, напоминало монету. Фотография была сделана в конце 1930-х годов, сказал мой сосед, до его рождения. Брак на тот момент уже не задался – свирепость отца и непреклонность матери были не только внешними. Их супружество стало грандиозной битвой двух волевых характеров, и никому так и не удалось разнять их, лишь ненадолго – уже после их смерти. Но об этом, сказал он со слабой улыбкой, в другой раз.

Тем временем к нам медленно приближалась бортпроводница, толкая по проходу металлическую тележку и раздавая белые пластиковые подносы с едой и напитками. Она дошла до нашего ряда; я предложила поднос мальчику слева от меня, и он молча поднял игровую консоль обеими руками, чтобы я поставила его на откидной столик. Мы с соседом справа сняли со своих подносов крышки, чтобы налить чай в стоявшие на них белые пластиковые чашки. Он начал задавать мне вопросы, словно приучил себя это делать, и мне стало интересно, кому или чему он обязан навыком, который многие так никогда и не приобретают. Я рассказала, что недавно переехала в Лондон из загородного дома, где три года прожила одна с детьми, а до этого семь лет с их отцом. Иными словами, это было наше семейное гнездо, которое на моих глазах превратилось в могилу то ли реальности, то ли иллюзии – я и сама уже не была уверена.

Мы принялись пить чай и есть мягкие, похожие на пирожные печенье, и наступила пауза. За окном стояла лиловая полутьма. Ровно гудели двигатели. Внутри самолета тоже воцарился сумрак, пронизываемый лучами ламп над сиденьями. Мне было трудно рассмотреть лицо моего собеседника с соседнего кресла. Причудливая игра света превратила его в горный пейзаж с грядами и впадинами; в центре высился огромный крючковатый нос, отбрасывавший по обе стороны глубокие ущелья тени, и я почти не различала его глаз. У него были тонкие губы и широкий, слегка приоткрытый рот; часть между носом и верхней губой была широкая и мясистая, и он так часто трогал ее рукой, что зубов не было видно, даже когда он улыбался. Невозможно, сказала я в ответ на его вопрос, назвать причины, по которым мой брак распался: брак – это, помимо прочего, система убеждений, это история, и хотя проявляется она в вещах вполне реальных, движет ею что-то поистине загадочное. Реальной в конце концов оказалась потеря дома – точки на карте, где сходилась всё то, что ныне было утрачено, и которая, казалось, воплощала в себе надежду, что однажды оно еще вернется. В каком-то смысле уехать из дома для нас значило заявить во всеуслышание, что мы перестали ждать, что больше нас не найти по обычному номеру телефона, обычному адресу. У моего младшего сына, сказала я

ему, есть раздражающая привычка: если вы договорились где-нибудь встретиться и он приходит раньше, дожидаться на том же месте он не станет. Он немедленно отправится тебя искать, заблудится и придет в отчаяние. А потом, как обычно, обиженно воскликнет: я не мог тебя найти! Но единственный способ что-то найти – это оставаться там, где ты есть, в назначенном месте. Вопрос только в том, сколько ты выдержишь.

– Мне часто кажется, – ответил мой сосед после паузы, – что мой первый брак закончился по нелепейшей причине. Мальчишкой я часто наблюдал, как с полей возвращаются повозки, нагруженные такими горами сена, что, казалось, они держатся лишь чудом. Они подпрыгивали, опасно качались из стороны в сторону, но удивительным образом никогда не опрокидывались. А потом однажды я увидел, как такая повозка лежит на боку, повсюду рассыпано сено, люди бегут и кричат. Я спросил, что случилось, и возчик ответил, что повозка налетела на ухаб. Я навсегда это запомнил, – сказал он. – Это вроде бы неизбежно и вместе с тем очень глупо. Так же произошло со мной и моей первой женой. Мы налетели на ухаб, и всё кончилось.

Теперь он понимал, что это были счастливые отношения – самые гармоничные в его жизни. Они с женой познакомились подростками и тогда же были помолвлены; до той ссоры, которая всё разрушила, они никогда не ругались. У них было двое детей и значительное состояние: большой дом под Афинами, квартира в Лондоне, недвижимость в Женеве; они отдыхали на горнолыжных курортах, у них были лошади и двенадцатиметровая яхта, пришвартованная в Эгейском море. Они были еще довольно молоды и верили, что рост будет продолжаться по экспоненте, что жизнь всегда будет расширяться и один за другим разбивать сосуды, в которые пытаешься ее вместить, – каждый следующий больше предыдущего. После ссоры мой сосед, не спеша окончательно съезжать из дома, поселился на яхте. Стояло лето, яхта была роскошная; он мог плавать, рыбачить и принимать гостей. Несколько недель он жил во власти чистой иллюзии – а на самом деле онемения, какое бывает после травмы, пока боль еще не начала медленно и безжалостно просачиваться сквозь густой туман нечувствительности. Погода испортилась, на яхте стало холодно и некомфортно. Отец жены назначил ему встречу, попросил его отказаться от претензий на их совместное имущество, и он согласился. Он думал, что может позволить себе щедрость, что успеет снова заработать денег. Ему было тридцать шесть, и он всё еще чувствовал в своих жилах силу, растущую по экспоненте, силу жизни, готовой разбить сдерживающий ее сосуд. Он сможет заполучить всё снова, только на этот раз в самом деле будет этого хотеть.

– Однако я обнаружил, – сказал он, трогая длинную ложбинку над верхней губой, – что это не так-то просто.

Конечно, всё вышло не так, как он себе представлял. Ухаб не только разрушил его брак, но и заставил его свернуть на совсем другую дорогу – долгую окольную тропу, ведущую неизвестно куда и, в общем-то, совершенно ему не нужную, но он, как ему иногда кажется, и по сей день продолжает по ней идти. Установить причину этой череды событий так же трудно, как найти кривой стежок, из-за которого вся одежда разошлась по швам. Тем не менее эти события составили большую часть его взрослой жизни. Прошло почти тридцать лет после окончания его первого брака, и чем дальше та жизнь уходила в прошлое, тем более реальной она становилась в его глазах. Нет, «реальной» – неправильное слово, сказал он: то, что происходило с ним потом, тоже было вполне реальным. Он хотел сказать «настоящей»: ничто в его жизни не было таким настоящим, как его первый брак. Чем старше он становился, тем больше то время олицетворяло для него дом, место, куда он мечтал вернуться. Впрочем, когда он вспоминал о нем трезво, а особенно когда разговаривал со своей первой женой – теперь это случается довольно редко, – к нему возвращалось старое чувство нехватки воздуха. И всё равно сейчас ему кажется, что ту жизнь он прожил почти неосознанно, что он потерялся, растворился в ней, как растворяешься в книге и начинаешь верить в реальность ее событий, проживаешь ее вместе с персонажами и через них. С тех пор ему больше ни в чем не удавалось раствориться,

больше он ни во что так не верил. Возможно, именно этим – утратой веры – и объясняется его тоска по былой жизни. Как бы то ни было, вместе с женой они построили нечто процветающее, приумножили совокупность самих себя и того, что у них было; жизнь охотно покорялась им и одаривала их изобилием, и именно поэтому, как он понял уже потом, ему хватило уверенности всё разрушить – разрушить, как ему теперь кажется, с необычайной беспечностью – ведь он думал, что дальше будет больше.

– Больше чего? – спросила я.

– Больше жизни, – сказал он, раскрыв ладони. – И больше любви, – добавил он после паузы. – Я хотел больше любви.

Он убрал фотографию родителей обратно в кошелек. В окнах теперь была чернота. Люди в салоне читали, спали, разговаривали. Мужчина в длинных мешковатых шортах ходил туда-обратно по проходу, баюкая на плече ребенка. Казалось, что самолет находится в состоянии покоя, почти неподвижности; между внутренним и внешним пространством как будто не было ни границ, ни трения, и не верилось, что мы движемся вперед. Снаружи царила полная темнота, и электрический свет делал людей особенно осязаемыми и реальными, выявлял все детали их облика, такие безличные, такие вечные. Каждый раз, когда мужчина с ребенком проходил мимо, я видела сеть складок на его шортах, его веснушчатые руки в жесткой рыжеватой шерсти, светлую бугристую ткань майки под задравшейся футболкой, нежные морщинистые ступни малыша на его плече, маленькую сгорбленную спину, голову с мягким завитком редких волос.

Мой сосед вновь повернулся ко мне и спросил, чем мне предстоит заниматься в Афинах. Во второй раз я почувствовала, что он заставляет себя задавать вопрос осознанно, как будто это приобретенный навык: так учатся подхватывать вещи, когда они выскользывают из рук. Я вспомнила, что все мои сыновья в раннем детстве намеренно скидывали предметы с подноса детского стульчика, чтобы посмотреть, как они падают на пол, – этот процесс нравился им так же сильно, как расстраивал результат. Они смотрели на упавшую вещь – недоеденный сухарик или пластиковый мячик, – но она не возвращалась назад, и это с каждой секундой приводило их во всё большее смтение. В конце концов они ударялись в слезы и обычно обнаруживали, что плач помогает вернуть предмет на место. Меня всегда удивляло, что, проследив за этой цепочкой событий, они начинали всё сначала: как только вещь оказывалась у них в руках, они вновь ее роняли и наклонялись посмотреть, как она падает. Радость оставалась неизменной, равно как и горе. Я всё ждала, когда же они поймут, что огорчение необязательно и можно его избежать, но этого не происходило. Память о страдании никак не влияла на их поведение – напротив, она подталкивала их повторять всё заново, ведь в страдании была магия, которая возвращала предмет на место и позволяла вновь испытать радость от его падения. Если б я не стала поднимать его в самый первый раз, возможно, они усвоили бы совсем другой урок, хотя не знаю, какой именно.

Я сказала ему, что я писательница и еду в Афины на несколько дней в качестве преподавателя летней школы. Курс называется «Как писать», и его ведут несколько писателей, но, поскольку единого способа писать не существует, скорее всего, мы будем говорить прямо противоположные вещи. Как мне сказали, студенты в основном греки, хотя предполагается, что писать они будут на английском. Некоторые отнеслись к этой идее скептически, но лично я не вижу тут проблемы. Пускай пишут на каком угодно языке – для меня это не имеет значения. Порой, сказала я, теряя что-то в переводе, обретаешь простоту. Преподаванием я просто зарабатываю на жизнь, добавила я. А еще надеюсь увидеться в Афинах с парой друзей.

Писательница, повторил мой сосед, склонив голову, что могло означать как уважение к моей профессии, так и полное отсутствие знаний о ней. Я заметила, еще когда сиделась рядом с ним, что он читает потрепанный том Уилбура Смита; не то чтобы это ясно свидетельствовало о его читательских предпочтениях, сказал он теперь, хотя он и вправду не отличается разбор-

чивостью в художественной литературе. В книгах его интересует информация, факты и интерпретация фактов, и уж в этой области, заверил он меня, у него более утонченный вкус. Он знает, что такое хороший стиль; так, один из его любимых писателей – Джон Джулиус Норвич. Но в художественной литературе, признался мой сосед, смыслит он мало. Он спрятал Уилбура Смита, до сих пор лежавшего в кармане кресла перед ним, в портфель у себя под ногами – как будто, убирая его с глаз долой, отрекался от него или рассчитывал, что я про него забуду. Откровенно говоря, я уже не рассматривала литературные предпочтения как повод проявить снобизм или даже как способ самоопределения – я совершенно не хотела доказывать, что одна книга лучше другой; более того, если какая-то книга западала мне в душу, мне все меньше хотелось говорить об этом. У меня исчезла потребность убеждать других в том, в чем я сама была уверена. Я больше не хотела ничего никому доказывать.

– Моя вторая жена, – сказал в этот момент мой сосед, – не прочла ни одной книги за всю жизнь.

Она была абсолютной невеждой, продолжал он, не понимала даже основ истории и географии и часто говорила на людях страшные глупости, ни капли не смущаясь. Зато ее раздражало, когда другие говорили о том, чего она не знала: например, когда ко мне приехал друг из Венесуэлы, она отказывалась верить, что такая страна существует, раз она о ней никогда не слышала. Сама она была англичанкой и отличалась такой изысканной красотой, что невольно хотелось видеть в ней и богатый внутренний мир; однако если ее натура и таила в себе сюрпризы, то едва ли приятные. Он часто приглашал в гости ее родителей, словно надеясь через них разгадать загадку их дочери. Они приезжали на остров, в прежний дом его семьи, и гостили там неделями. Ему никогда не доводилось встречать людей настолько пресных, настолько безликих: как он ни старался их расшевелить, они оставались безучастны, будто пара кресел. Постепенно он сильно к ним привязался, как привязываются к креслам, особенно к отцу, который был до такой степени молчалив, что виной тому, как со временем решил мой сосед, могла быть только психологическая травма. Этот человек, изувеченный жизнью, вызывал в нем сочувствие. В дни молодости он с большой вероятностью даже не заметил бы его и уж точно не стал бы размышлять над причинами его молчания, но теперь, разглядев страдания своего тестя, он начал видеть и свои собственные. Звучит банально, но после этого осознания его жизнь будто повернулась вокруг своей оси: его прошлое, в котором он руководствовался только собственными желаниями, за счет простой перемены перспективы вдруг предстало перед ним как духовный путь. Он развернулся, как разворачивается и оглядывает склон позади себя альпинист, оценивая пройденный путь и больше не думая о подъеме.

Когда-то давно – так давно, что он забыл имя автора, – он читал о человеке, который пытался перевести на другой язык рассказ известного писателя, и несколько строк запали ему в душу. В этих строках – которые, как сказал мой сосед, он всё еще помнит, – переводчик размышляет, что предложение не рождается на свет ни хорошим, ни плохим и характер его определяют мельчайшие поправки – это интуитивный процесс, для которого преувеличение и натужность фатальны. Речь шла об искусстве писательства, но, оглянувшись назад на пороге зрелости, мой сосед понял, что то же самое можно сказать и об искусстве жизни. Он то и дело видел, как люди, бросаясь в крайности, рушат свою жизнь, и его новые тесть с тещей были тому примером. Так или иначе, ясно одно: их дочь решила, что у него гораздо больше денег, чем было на самом деле. Ее соблазнила та роковая яхта, на которой он укрылся после побега из семейного гнезда, – только она из всего состояния у него и осталась. Его новая жена нуждалась в роскоши, и он принялся работать так, как не работал никогда в жизни, слепо и фанатично, пропадая на встречах и в самолетах, без конца ведя переговоры и заключая сделки, принимая на себя всё больше и больше рисков – всё ради того, чтобы обеспечить ее богатством, которое она принимала как данность. По сути, он создавал иллюзию, и что бы он ни делал, ничто не могло заполнить пропасть между этой иллюзией и реальностью. Постепенно, сказал он, эта

пропасть, этот разрыв между реальным положением вещей и желаемым начал подкашивать его. Я чувствовал опустошение, сказал он, будто до тех пор меня поддерживали ресурсы, накопленные за годы, и теперь они подошли к концу.

Тогда-то его начали одолевать мысли о том, какой адекватной была его первая жена, какой здоровой и обеспеченной была их семейная жизнь, каким значимым – их совместное прошлое. Первая жена, пережив трудный период, снова вышла замуж: после развода она безумно увлеклась горными лыжами и постоянно ездила на склоны Северной Европы, а вскоре объявила, что в австрийском Лехе вышла замуж за инструктора, который, по ее словам, вернул ей уверенность в себе. Они по-прежнему женаты, признал мой сосед. Но тогда, сразу после ее свадьбы, ему вдруг начало казаться, что он совершил ошибку, и он попытался восстановить с ней контакт, не зная толком зачем. Их двое детей, дочь и сын, тогда были совсем малы, и родителям, в конце концов, имело смысл поддерживать общение. Он смутно припоминает, что непосредственно после их расставания она пыталась связаться с ним; он помнит, как избегал ее звонков, ухаживая за женщиной, которая станет потом его второй женой. Тогда он был недоступен – он ушел в новый мир, где от первой жены почти ничего не осталось, где она превратилась в нелепую картонную фигурку с повадками – как он убедил самого себя и окружающих – настоящей сумасшедшей. Но на этот раз недостижимой стала она: теперь она неслась вниз с холодных белых вершин Арльберга, и его не существовало для нее так же, как раньше ее – для него. Она не отвечала на его звонки или отвечала коротко, рассеянно, говорила, что ей пора. Она отказывалась его узнавать, и это обескураживало больше всего – он чувствовал себя совершенно ненастоящим. Ведь именно рядом с ней он сформировался как личность; если она больше не узнаёт его, кто же он тогда?

Странно, сказал он, что даже теперь, когда эти события ушли в далекое прошлое и они с первой женой стали общаться чаще, стоит им поговорить больше минуты, как она начинает его раздражать. И он не сомневается: если б она тогда на его зов вдруг ринулась к нему обратно со снежных склонов, в нем быстро пробудилось бы прежнее раздражение, и их отношения неизбежно рассыпались бы во второй раз. Вместо этого они состарились на расстоянии: разговаривая с ней, он отчетливо представляет, какой была бы их совместная жизнь, тогда и сейчас. Так бывает, когда проходишь мимо дома, где раньше жил: стоит увидеть, что он всё еще стоит, что он такой настоящий, и вся жизнь после переезда кажется иллюзорной. Без структуры события становятся зыбкими, а реальность его первой жены, как и реальность дома, была структурной, определяющей. Да, она задавала ограничения, которые он ощущает во время разговоров с женой по телефону. Но жизнь без этих ограничений вымотала его, превратилась в долгую череду материальных и эмоциональных трат, словно тридцать лет подряд он прожил в отелях. Дороже всего ему обходилось это чувство непостоянства, бездомности. Он бесконечно тратился в надежде избавиться от него, в надежде на крышу над головой. И он постоянно видит вдали свой дом, – свою жену, – и они почти не изменились, только теперь принадлежат другим.

Я сказала, что это чувствуется по его рассказу – вторая жена вырисовывается из него и вполтину не так отчетливо, как первая. Честно говоря, я даже не совсем поверила в нее. Мне нарисовали ее совершенной злодейкой, но в чем именно она провинилась? Она никогда не претендовала на большой интеллект, тогда как мой сосед, например, притворялся богачом, и поскольку в ней ценили исключительно красоту, с ее стороны было естественно – некоторые бы сказали, что и разумно, – назначить за эту красоту цену. Что касается Венесуэлы, кто он такой, чтоб судить, кто что должен и не должен знать? Я уверена, он сам не знает многих вещей, а значит, их для него не существует, как не существовало Венесуэлы для его красотки-жены. Мой сосед так нахмурился, что по бокам его подбородка, как у клоуна, пролегли две глубокие борозды.

– Признаю, – сказал он после длинной паузы, – что тут я несколько предвзят.

Правда заключается в том, что он не мог простить своей второй жене ее обращения с его детьми, которые проводили у них школьные каникулы – обычно в семейном особняке на острове. Особенно она ревновала к старшему сыну и критиковала каждый его шаг. Она следила за ним с поразительной одержимостью и постоянно заставляла работать по дому, придираясь к мельчайшему беспорядку и настаивая на своем праве наказывать его за то, что она одна считала проступками. Однажды мой сосед вернулся домой и обнаружил, что мальчика заперли в подвале, ветвившемся, как катакомбы, и занимавшем всё пространство под домом, – месте темном и зловещем даже в лучшие времена, он и сам боялся туда спускаться в детстве. Сын, свернувшийся калачиком, дрожащий, сказал отцу, что его отправили сюда за не убранную со стола тарелку. Он как будто олицетворял всё, что эту женщину тяготило в роли жены, воплощал несправедливость, повязавшую ее по рукам и ногам, – и был доказательством тому, что для ее мужа она никогда не будет превыше всего.

Он никак не мог понять ее потребности в главенстве, ведь он не виноват, что до встречи с ней у него была другая жизнь; но со временем ее стремление стереть его прошлое, и в том числе детей как неотъемлемое свидетельство этого прошлого, только росло. У них к тому времени тоже родился сын, но ситуацию это не спасло и усугубило ее ревность. Она обвиняла его в том, что он любит их сына меньше, чем старших детей; постоянно выискивая в муже признаки фаворитизма, сама она открыто ставила своего ребенка на первое место и в то же время часто на него злилась, словно эту битву можно было бы выиграть, будь на его месте другой мальчик. И действительно, после расставания она фактически забросила их сына. Последнее лето они проводили на острове вместе с ее родителями-креслами. К тому времени мой сосед уже испытывал к ним исключительно теплые чувства и с сочувствием воспринимал их безжизненность как следствие ураганного характера их дочери. Они были словно равнина, где вечно бушуют торнадо; они постоянно жили в полуопустошенном состоянии. Его жена вбила себе в голову, что непременно хочет вернуться в Афины – видимо, заскучала на острове; ей уже, наверное, хотелось ходить по вечеринкам и заниматься своими делами, она устала проводить каждое лето в этом семейном мавзолее. К тому же ее родители скоро должны улетать из Афин домой, так что они могут поехать все вместе, сказала она, а старших детей оставить на попечении прислуги. На это мой сосед сказал ей, что не может сейчас поехать в Афины. Ему никак нельзя оставлять детей: они же уедут через две-три недели. Как он может их бросить, если это его единственная возможность побыть с ними? Если он не поедет, сказала она, пусть считает, что их браку конец.

В тот момент и началось их открытое противостояние: она наконец поставила его перед выбором, который для него был неприемлем. Он счел ее требования чрезмерными, и последовала жуткая ссора, после которой она сама, их сын и ее родители сели на паром и вернулись в Афины. Перед отплытием ее отец в виде редкого исключения произнес несколько слов. Он сказал, что понимает позицию зятя. Их обоих мой сосед тогда видел в последний раз, да и жену, считай, в последний: она вернулась с родителями в Англию и вскоре развелась с ним. Она наняла очень хорошего адвоката, и во второй раз в жизни он оказался на грани финансового краха. Ему пришлось продать яхту и купить маленький катер, который больше соответствовал его положению. Младший сын со временем вернулся к нему, когда его мать вновь вышла замуж за английского аристократа, без сомнения обладавшего громадным состоянием, и обнаружила, что сын мешает ее второму браку так же, как дети первого мужа мешали первому. Эта последняя деталь говорила если не о цельности характера его бывшей жены, то хотя бы о некотором постоянстве.

Столько всего гибнет в кораблекрушении, произнес он. Остаются только обломки, и если не ухватиться за них вовремя, то и они пойдут ко дну. И всё же я по-прежнему верю в любовь. Любовь лечит всё, а где это ей не по силам, там облегчает боль. К примеру, вы, сказал он, – сейчас вы грустите, но грусть бы прошла, если бы вы были влюблены.

Я вновь подумала о своих сыновьях на их детских стульчиках и о том, как они узнали, что плач магическим образом возвращает им упавший мячик. В этот момент самолет совершил первый мягкий нырок вниз, в темноту. Из громкоговорителя раздался голос, бортпроводница засуетилась в проходе, загоняя людей обратно на места. Мой сосед спросил у меня номер телефона: может, мы как-нибудь поужинаем вместе, пока я в Афинах.

Его рассказ о втором браке мне не понравился. В нем не хватало объективности и делалось слишком много акцента на крайностях, а нравственные характеристики, которыми эти крайности объяснялись, часто были неверны. Вполне естественно, например, ревновать к ребенку, хотя, конечно, от этого страдают все вокруг. Мне было трудно поверить в кое-какие ключевые эпизоды истории – например, в то, что жена заперла его сына в подвале, и описание ее красоты, которая, к слову, стала предметом неравноценного обмена, мне тоже показалось неубедительным. Если в ревности нет ничего предосудительного, то в красоте и подавно; если кого и можно осудить, то рассказчика, эту красоту, так сказать, присвоившего путем обмана. Реальность – это вечный баланс положительного и отрицательного, но в этой истории два полюса оказались совершенно не связаны и воплощались в отдельных враждующих сущностях. Повествование всегда выставляло одних людей – рассказчика и его детей – в лучшем свете, а жена появлялась только тогда, когда от нее требовалось еще больше очернить себя. К примеру, лицемерные попытки рассказчика связаться с первой женой описывались как правильный поступок, заслуживающий сопереживания, тогда как неуверенность его второй жены – вполне обоснованная, как мы знаем, – превращалась в немыслимое преступление. Единственное исключение составляла любовь рассказчика к скучным, измученным ураганами родителям его жены – щемящая деталь, в которой положительное и отрицательное снова уравновешивалось. В остальном же в этой истории, по моим ощущениям, правда была принесена в жертву желанию рассказчика выйти победителем.

Мой сосед засмеялся и сказал, что я, наверное, права. Мои родители ссорились всю жизнь, сказал он, и никто так и не одержал верх. Но никто и не сдался. Сдались и убежали дети. Мой брат был женат пять раз, сказал он, а теперь на Рождество он сидит один в своей квартире в Цюрихе, считает деньги и жует сэндвич с сыром. Скажите мне правду, попросила я: она в самом деле заперла вашего сына в подвале? Он склонил голову.

– Она всегда это отрицала, – ответил он. – Она говорила, Такис сам там заперся, чтобы подставить ее.

И он допускает, сказал он, что у нее были причины звать его с собой в Афины. Он не всё мне рассказал – дело в том, что ее мать заболела. Ничего серьезного, но ей нужно было лечь в больницу на материке, а его жена не очень хорошо говорила по-гречески. Впрочем, он все равно считал, что жена и ее отец справились бы сами. Прощальные слова его тестя в свете этого уточнения начинали звучать несколько неоднозначно.

К тому моменту мы уже застегнули ремни безопасности, как нам велел голос из громкоговорителя, и, когда самолет задрожал и нырнул вниз, я впервые увидела под нами огни, огромный лес огней, загадочно вздымающихся и опускающихся в темноте.

Я тогда всё время очень переживал из-за детей, сказал мой сосед. Я не мог думать о том, что нужно мне или ей; я думал, что им я нужен сильнее. Его слова напомнили мне о кислородных масках, которые нам, конечно, за время полета не понадобились. Кислородные маски в самолете, сказала я, – это результат какой-то циничной обоюдной договоренности: все негласно понимают, что они никому никогда не пригодятся. Мой сосед ответил, что зачастую это действительно бывает так и тем не менее не стоит в личных ожиданиях исходить из теории вероятностей.

II

Я заметила, когда мы шли по узким тротуарам вдоль ревущей проезжей части, что Райан всё время держится подальше от машин.

– Я много изучал статистику смертности на дорогах в Афинах, – сказал он. – К такой информации я отношусь серьезно. Мой долг перед семьей – вернуться домой целым и невредимым.

То и дело нам встречались большие, чудовищно лохматые собаки, растянувшиеся на тротуаре. На жаре их разморило до бесчувствия, и они лежали совсем неподвижно, только бока слегка вздымались от дыхания. Издалека их иногда можно было принять за женщин в шубах, спящую повалившихся на землю.

– Ничего, если я перешагну через собаку? – спросил Райан в нерешительности. – Или надо всех обходить?

Он спокойно переносит жару, сказал он, даже любит ее. Как будто наконец из него выветривается многолетняя сырость. Единственное, о чем он жалеет, – это о том, что только в сорок один год добрался до этого восхитительного места. Жаль, жена и дети не смогли приехать, но он твердо решил не портить впечатления чувством вины. Его жена недавно провела выходные с подругами в Париже, оставив его одного с детьми, так что он полностью заслужил эту поездку. Да и с детьми, если уж совсем честно, особо никуда не денешься: первым делом с утра он дошел до Акрополя, пока не слишком жарко, а с ними разве так получится? А если бы и получилось, он бы постоянно волновался, как бы они не обгорели на солнце или как бы у них не началось обезвоживание, и, даже если б он увидел на вершине холма Парфенон, эту ветхую бело-золотую корону на фоне неистовой языческой синевы неба, он бы не почувствовал его так, как почувствовал этим утром, проветривая темные уголки своей души. Когда он поднимался туда, он почему-то вспомнил, как в его детской постельное белье всегда пахло плесенью. Если открыть шкаф в родительском доме, чаще всего оказывалось, что по задней стенке стекает вода. Собираясь переезжать из Трали в Дублин, он обнаружил, что все его книги прилипли к полкам. Беккет и Синг сгнили и превратились в клей.

– Как можно догадаться, я не отличался любовью к чтению, – сказал он, – и об этом я обычно умалчиваю.

Нет, он раньше не бывал в Греции и вообще ни в одной стране, где солнце принимают как должное. У его жены на него аллергия – в смысле, на солнце. Как и он, она выросла там, где было сыро и пасмурно, на солнце покрывается багровыми пятнами и пузырями и жару не переносит в принципе – у нее начинается мигрень и тошнота. На каникулы они возят детей в Голуэй, где живут ее родители, а если хотят вырваться из Дублина, то всегда могут наведаться в Трали. Это как раз тот случай, когда «дом – значит место, где нас принимают, когда приходим мы»¹, сказал он. И его жена во всё это верит, в фамильные узы, воскресные обеды и в то, что у детей должны быть бабушки и дедушки по обеим линиям, но, будь его воля, он бы, пожалуй, никогда больше не переступил порог родительского дома. Не то чтобы они в чем-то конкретном провинились, сказал он, они хорошие люди, просто мне бы это и в голову не пришло.

Мы прошли мимо веранды кафе, и люди за столиками, укрывшиеся в прохладной тени большого навеса, будто наблюдали с осознанием своего превосходства за тем, как мы мучительно плетемся по жаркой шумной улице. Райан сказал, что не прочь присесть и что-нибудь выпить; он здесь уже завтракал, и это место вроде неплохое. Было неясно, хочет ли он, чтобы я составила ему компанию. Мне показалось, он специально выразился так, чтобы его слова не

¹ Цитата из стихотворения Роберта Фроста «Смерть батрака» в переводе М. Зенкевича. – *Здесь и далее примеч. пер.*

звучали как приглашение. После этого я стала внимательно наблюдать за ним и обнаружила, что, когда другие люди строили планы, Райан говорил: «Я, может, присоединюсь» или «Возможно, там и увидимся», не связывая себя конкретным местом и временем. Обо всем, что он делал, он рассказывал только постфактум. Однажды я случайно встретила его на улице и, заметив, что волосы у него мокрые и зачесаны назад, спросила, где он был. Он признался, что плавал в большом открытом бассейне отеля «Хилтон»: прикинулся постояльцем и проплыл сорок раз туда-обратно бок о бок с русскими богачами, американскими бизнесменами и клиентами пластических хирургов. Он был уверен, что вызвал подозрение у зрителей бассейна, но допрашивать его никто не решился. Как еще прикажете заниматься спортом, спросил он, в задыхающемся от машин городе в сорокаградусную жару?

За столик он сел, как и остальные мужчины, спиной к стене, чтобы ему открывался вид на кафе и на улицу. Я села напротив и, поскольку больше смотреть было не на что, смотрела на него. Мы с Райаном вместе преподавали в летней школе. Издалека он, светловолосый и светложкий, казался мужчиной вполне стандартной, приятной внешности, но вблизи в нем открывалось что-то неловкое, как будто его собрали из разрозненных, не подходящих друг к другу частей. У него были большие белые зубы, слегка видневшиеся между приоткрытых губ, рыхлое тело – ни толстое, ни мускулистое, маленькая и узкая голова с редкими, почти бесцветными волосами, которые росли назад, как колючки, и бесцветные ресницы, спрятанные сейчас за темными очками. Брови у него при этом были буйные, прямые и черные. Когда подошла официантка, он снял очки, и я увидела его глаза – две маленькие голубые фишки с красноватыми белками. Веки тоже были красные, как будто воспаленные или обожженные солнцем. Он спросил официантку, есть ли у них безалкогольное пиво, и она наклонилась к нему, приставив ладонь к уху и явно его не понимая. Он взял меню, и они стали вместе его изучать.

– Что из этого безалкогольное? – медленно спросил он, терпеливо ведя пальцем по списку и часто поглядывая на нее.

Она наклонилась еще ближе, следя за его рукой, а он неотрывно смотрел на ее лицо, молодое и красивое, обрамленное с обеих сторон длинными локонами, которые она постоянно заправляла за уши. Поскольку его палец указывал на пустое место, она по-прежнему ничего не понимала и в итоге сказала, что позовет менеджера, но тогда он закрыл меню, как учитель в конце урока, и попросил ее не утруждать себя – он возьмет обычное пиво. Эта перемена сбила ее с толку еще сильнее: меню было открыто заново, и урок повторился сначала, а мое внимание тем временем переключилось на людей за другими столиками и на улицу, где проезжали машины и собаки лежали в ворохах меха на ослепительном солнце.

– Она обслуживала меня утром, – сказал Райан, когда официантка ушла. – Эта же девушка. Красивые они люди, да? Жаль, конечно, что безалкогольного пива нет. У нас везде есть.

Он сказал, что всерьез намерен пить меньше и что весь последний год придерживался здорового образа жизни: ходил в спортзал каждый день и ел салаты. После рождения детей он несколько запустил себя, к тому же в Ирландии сложно за собой следить: вся культура страны этому препятствует. В юности, когда он жил в Трали, у него были серьезные проблемы с лишним весом, как и у многих местных – в том числе у его родителей и старшего брата, которые по-прежнему едят пять раз в день и считают одним из основных блюд картофель фри. Он мучился от многочисленных аллергий, экземы и астмы, и рацион, которого придерживались у них в семье, едва ли улучшал его состояние. В детстве ему приходилось ходить в школу в шортах с шерстяными гольфами, и от этого экзема только усиливалась. Он помнил, как перед сном снимал гольфы, а вместе с ними слезала кожа. В наше время, конечно, родители бы тут же отвели ребенка к дерматологу или гомеопату, но тогда оставалось только терпеть. Когда ему становилось трудно дышать, родители выводили его на улицу и сажали в машину. А что касается веса, сказал он, ты почти никогда не видел себя в открытой одежде, как, впрочем,

и других. Он помнил, как ему казалось чужим собственное тело, обреченное существовать в сыром, заплесневелом климате дома; забитые легкие и зудящая кожа, сосуды, страдающие от жирной и сладкой пищи, колышущийся живот под неудобной одеждой. Подростком он стеснялся самого себя, вел сидячий образ жизни и старался никому не показывать свое тело. Но затем он уехал на год в Америку учиться писательству и обнаружил, что усилием воли может полностью изменить свою внешность. В университете были бассейн и спортзал, а в столовой – еда, о которой он раньше не слышал: брюссельская капуста, цельнозерновые продукты и соя; более того, теперь его окружали люди, возводившие идею собственного преображения в культ. Он проникся этой концепцией буквально за один день: в его власти было решить, каким он хочет стать, и стать таким. Никакого предопределения больше не было; он осознал, что воля судьбы или рока, окутывавшая грозной пеленой всю его жизнь, осталась в Ирландии. Придя впервые в спортзал, он увидел красивую девушку, которая занималась на тренажере и одновременно читала толстый учебник по философии, лежащий перед ней на подставке, и не поверил своим глазам. Оказалось, у всех тренажеров были подставки для книг. Девушка занималась на степпере, имитирующем подъем по лестнице; с тех пор он всегда занимался на нем и всегда с книгой, вспоминая ту девушку, которую он, к немалому своему огорчению, больше не встречал. За год он, должно быть, прошел вверх по лестнице многие мили, оставаясь при этом на одном месте, и этот образ надолго остался в его голове – не только девушки, но и себя самого, вечно поднимающегося по воображаемым ступеням за книгой, которая маячит перед ним, как морковь перед ослом. Только взобравшись по этой лестнице, он мог окончательно вырваться из того места, где родился.

Его поездка в Америку, сказал он, не просто счастливая случайность: это поворотный момент в его жизни, и, когда он думал о том, кем стал бы и что делал бы, не случись этого поворота, ему становилось страшно. О курсе писательства ему рассказал преподаватель английского языка, и он же вдохновил его подать заявку. Когда ему пришел ответ, он уже закончил колледж и вернулся в Трали, где жил в родительском доме, работал на птицефабрике и крутил роман с женщиной намного старше себя, матерью двоих детей – которым она, без сомнения, прочила его в отцы. В письме сообщалось, что на основе предоставленной письменной работы ему предлагают стипендию, а также возможность остаться на второй год за плату, если он пожелает получить квалификацию преподавателя. Сорок восемь часов спустя он уже был в самолете, взяв лишь несколько книг и ничего из одежды, кроме той, что была на нем. Он впервые в жизни покидал Британские острова и не имел представления, куда направляется, – хотя над облаками ему показалось, что в рай.

Так случилось, сказал он, что его старший брат уехал в Америку примерно в то же время. Их с Кевином никогда не связывали близкие отношения, и тогда он был не в курсе его планов, но теперь видит в этом удивительное совпадение, с той лишь разницей, что брата едва ли забросило в Америку удачное стечение обстоятельств. Кевин записался в морпехи и сжигал тралийский жир в учебном лагере новобранцев, пока Райан вышагивал на степпере. Они могли жить в двух шагах друг от друга, хотя это маловероятно: Америка – большая страна. Ну и конечно, служба в морской пехоте подразумевает частые поездки, сказал Райан как будто бы без иронии. На этом совпадения не закончились: оба брата вернулись в Ирландию три года спустя и встретились в гостинной родительского дома, оба подтянутые и стройные; Райан – с преподавательской квалификацией, контрактом на книгу и девушкой-балериной, и Кевин – с несуразными татуировками по всему телу и психическим расстройством, отныне лишившим его власти над своей жизнью. Воображаемая лестница, как оказалось, вела не только вверх, но и вниз: Райан и его брат теперь фактически принадлежали к разным социальным классам, и, когда Райан отправился в Дублин преподавать в университете, Кевин вернулся в их прежнюю сырую детскую, где и живет до сих пор, не считая периодов, проведенных в психиатрических клиниках. Занятно, сказал Райан, что родители не гордились достижениями Райана и в той

же мере не видели своей вины в том, что случилось с Кевином. Они пытались избавиться от него и упечь его в клинику навсегда, но он постоянно возвращался обратно, как бумеранг. В то же время они с некоторым презрением относились и к Райану, писателю и преподавателю в университете, который теперь жил в Дублине в хорошем доме и собирался жениться – не на балерине, а на ирландке, знакомой по колледжу еще с доамериканских времен. Райан сделал из этого вывод, что неудачи всегда будут к тебе возвращаться, а вот в собственных успехах еще придется себя убеждать.

Его узкие голубые глаза вперились в молодую официантку, которая шла к нам под тенью навеса и несла напитки.

– Давай сбежим вместе, – сказал он, когда она наклонилась, чтобы поставить его стакан на стол. Я подумала, что она его услышала, но он всё рассчитал точно: в ее величавом лице статуи ничто не дрогнуло. – Что за люди, – пробормотал он, не сводя с нее глаз, пока она шла обратно. Он спросил, хорошо ли я знаю Грецию, и я ответила, что была в Афинах три года назад с детьми – проводила здесь роковой в некотором смысле отпуск.

– Красивые они люди, – сказал он и, помолчав, добавил, что ничего удивительного тут нет, учитывая климат, образ жизни и, конечно, питание. Глядя на ирландцев, так и видишь столетия дождей и гнилой картошки. Он всё еще борется с этим ощущением отравы в собственном теле; в Ирландии очень трудно чувствовать себя чистым, как в Америке или здесь. Я спросила, почему после окончания магистерской программы он вернулся домой, и он ответил, что одной конкретной причины нет – их целое множество. Всё это вместе в конце концов и потянуло его обратно. На самом деле одной из причин стало то, что поначалу понравилось ему в Америке больше всего: там как будто ни у кого нет корней. Понятно, сказал он, на самом деле корни у них есть, но это несравнимо с ощущением, что родной город ждет тебя обратно, с чувством предопределенности, которое он волшебным образом оставил позади, поднявшись над облаками. Однокурсники без конца подтрунивали над его ирландским происхождением, сказал он; в итоге он начал им подыгрывать, говорить с нарочитым акцентом и всё такое, и почти убедил сам себя, что «ирландец» для него – вполне достаточная характеристика. Да и как он мог охарактеризовать себя иначе? Его пугала мысль об отсутствии корней; он начал думать, что он не проклят, а, наоборот, благословлен, и заново открывать в себе это чувство предопределенности или, по крайней мере, видеть его в ином свете. А писательство, этот процесс обращения боли в текст, – где его исток, если не в Ирландии, чем его питать, если не своим прошлым в Трали? Внезапно он ощутил, что обезличенность, лежащая в основе американской культуры, его слишком тяготит. Откровенно говоря, он был не самым талантливым студентом на курсе, – он спокойно это признавал, – в частности, как он решил, потому, что ему, в отличие от однокурсников, не приходилось эту обезличенность преодолевать. Если у тебя нет национального самосознания, ты пишешь лучше, не так ли? Ты смотришь на мир менее предвзято. А он в Америке как раз стал в большей степени ирландцем, чем был у себя на родине.

Он начал видеть Дублин таким, каким воображал его школьником: профессора в черных мантиях, словно лебеди, пересекают по улицам на велосипедах. Может ли он стать одним из тех, кого представлял себе многие годы? Черным лебедем, скользящим в стенах города, свободным, но другой свободой, не американской, бескрайней и плоской, как прерия. Он вернулся обратно в ореоле скромной славы, с преподавательской должностью, балериной и контрактом на книгу. Балерина уехала домой через полгода, а книга – сборник рассказов, принятый критиками благосклонно, – до сих пор остается его единственной изданной работой. Они с Нэнси всё еще общаются: он переписывался с ней в «Фейсбуке» буквально на днях. Больше она не танцует – стала психотерапевтом, хотя, честно говоря, у нее самой не все дома. Она живет с матерью в квартире в Нью-Йорке, и Райана поражает, что она в свои сорок совершенно не изменилась, она практически та же, что и в двадцать три года. А он – женатый мужчина с детьми и домом в Дублине, совершенно другой человек. Задержка в развитии – так он иногда

думает о ней, хотя понимает, что это жестоко. Она постоянно спрашивает у него, когда он напишет еще книгу, и в ответ его подмывает спросить у нее – чего он, конечно, никогда не делает, – когда она начнет жить.

А что касается сборника рассказов, они ему всё еще нравятся, он по-прежнему изредка их перечитывает. Их часто включают в антологии; вот недавно он продал права издательству в Албании. Но это как смотреть на свои старые фотографии. Наступает момент, когда образ безнадежно устаревает, потому что слишком мало уже связывает тебя с прошлым собой. Он не очень понимает, как это произошло, но знает только, что больше не узнаёт себя в тех рассказах, хотя помнит, как они рвались из него наружу, когда он писал их, как копились внутри и настойчиво просились на свет. С тех пор это чувство его больше не посещало; пожалуй, чтобы оставаться писателем, надо становиться писателем заново, а он с тем же успехом может стать космонавтом или фермером. Он даже не помнит, чем слова изначально привлекли его много лет назад, однако по-прежнему работает с ними. Наверное, с браком примерно так же, сказал он. Вся совместная жизнь строится на основе периода ярких переживаний, который больше не повторится. Это фундамент твоей веры, и иногда ты сомневаешься в нем, но не решаешься его разрушить, потому что на нем держится слишком большая часть твоей жизни. А соблазн, бывает, зашкаливает, сказал он, когда мимо нашего стола проплыла официантка. Должно быть, он увидел на моем лице неодобрение, потому что сказал:

– Моя жена всегда заглядывается на мужчин, когда идет тусоваться с друзьями. Иначе я бы в ней разочаровался. Смотри хорошенько, говорю я ей, оглянись вокруг. Она и мне ничего не запрещает – смотри сколько влезет.

В этот момент я вспомнила, как несколько лет назад оказалась в баре с группой людей, среди которых была незнакомая мне женатая пара. Жена то и дело выискивала глазами красивых девушек и обращала на них внимание мужа; они сидели и обсуждали их, и, если бы не выражение крайнего отчаяния, которое я заметила на лице женщины в тот момент, когда, как она думала, никто на нее не смотрит, я бы поверила, что им обоим это нравится.

У них с женой хорошие партнерские отношения, сказал Райан. Они поровну делят уход за детьми и работу по дому – его жена не мученица, какой была его мать. Она уехала в отпуск с подругами, рассчитывая, что в ее отсутствие он возьмет все заботы на себя: когда один дает другому свободу, подразумевается, что потом он получит свободу сам. Может, это и выглядит как расчет, сказал Райан, но я не вижу тут ничего плохого. Семья – это в некотором роде бизнес. Чтобы оставаться на плаву, лучше, если все будут с самого начала честны в своих желаниях.

На столе передо мной звякнул телефон. Сообщение от сына: Где моя теннисная ракетка? Не знаю, как у тебя, сказал Райан, но у меня с семьей и работой совсем не остается времени писать. Особенно с преподаванием – оно высасывает из тебя все соки. А когда у меня выдается свободная неделя, я трачу ее на дополнительные курсы, как сейчас, ради денег. Бывает, выбор стоит между выплатой ипотеки и написанием рассказа, который увидит свет лишь в каком-нибудь тоненьком литературном журнальчике, – я знаю, некоторым людям это нужно, по крайней мере, они так говорят, но большинству из них, мне кажется, просто нравится такая жизнь, нравится говорить, что вот они писатели. Я не говорю, что мне самому это не нравится, но это для меня не самое важное. Честно говоря, я бы с большей радостью написал триллер. Пошел бы туда, где есть деньги, – пара моих студентов, сказал он, так и сделали, написали вещи, которые прославились на весь мир. А жена меня спросила: разве не ты их научил, как это делается? Конечно, она не всё до конца понимает, но в чем-то она права. Я знаю одно: текст рождается из напряжения между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Поверхностное натяжение – вот подходящий термин, кстати, неплохое название, да? Он откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в сторону улицы. Я подумала: наверное, он уже решил, что свой триллер назовет «Поверхностное натяжение». В любом случае, продолжил он, когда я вспоминаю, какие обстоятельства подтолкнули меня написать «Возвращение домой», то осознаю, что

нет смысла пытаться вернуть себя в это состояние – это невозможно. Я никогда не смогу снова пережить это напряжение, когда жизнь посылает тебя в одну сторону, а ты рвешься в другую, будто не согласен с собственной судьбой, будто твое настоящее «я» протестует против того, кем тебя видят. Душа бунтует, сказал он и опустошил кружку пива одним глотком. Против чего я бунтую сейчас? Против троих детей, ипотеки и работы, которой сейчас многовато, – вот против чего.

Мой телефон снова зазвенел. Это было сообщение от вчерашнего соседа по самолету. Он собирался на прогулку на своей лодке и спрашивал, не хочу ли я присоединиться и поплавать. Он мог заехать за мной примерно через час, а потом привезти меня обратно. Пока я раздумывала, Райан продолжал. Чего мне не хватает, сказал Райан, так это дисциплины. Мне, в общем-то, без разницы, что я буду писать, – я просто хочу снова ощутить это единение души и тела, понимаешь, о чем я? Пока он говорил, я представила, как перед ним вновь поднимается и теряется в небе воображаемая лестница; как он карабкается по ней, а впереди, дразня, висит книга. Тень навеса отступала, а слепящий свет улицы надвигался, и мы сидели уже почти на границе. Я почувствовала бурление жары прямо у себя за спиной и придвинулась ближе к столу. Когда ты в правильном месте, у тебя появляется и время, сказал Райан, находят же люди время для романов на стороне. Ведь никто никогда не скажет, что хотел завести роман, но было некогда. Как бы ты ни был занят, сколько бы детей и обязанностей у тебя ни было, если есть страсть, будет и время. Пару лет назад мне дали творческий отпуск на полгода, целых шесть месяцев на писательство, и знаешь что? Я набрал два килограмма и большую часть времени гулял по парку с ребенком в коляске. Я не написал ни страницы. Вот что значит быть писателем: когда для страсти специально выделяешь время, она не приходит. В конце концов я уже мечтал вернуться на работу, лишь бы отдохнуть от домашних дел. Но кое-что я из всего этого усвоил, это точно.

Я посмотрела на часы: до дома пятнадцать минут пешком, пора идти. Я стала прикидывать, что взять с собой в лодку, жарко будет или прохладно, нужно ли брать книгу. Райан наблюдал за тем, как официантка выходит из тени и заходит обратно, гордая и прямая, как ровно лежат пряди ее распущенных волос. Я убрала вещи в сумку и сдвинулась на край стула, и это привлекло его внимание. Он повернулся ко мне. Как дела у тебя, ты сейчас что-то пишешь?

III

Квартира принадлежала женщине по имени Клелия, которая на лето уехала из Афин. Дом стоял на узенькой улочке, похожей на тенистое ущелье, с многоэтажными зданиями по обеим сторонам. На углу напротив входа в дом Клелии находилось кафе с большим навесом и столиками под ним, где всегда сидели люди. Длинное окно кафе, выходящее на узкий тротуар, полностью закрывала фотография людей, тоже сидящих на улице за столиками, и это создавало убедительную оптическую иллюзию. На этой фотографии женщина, запрокинув голову от смеха, подносила чашку кофе к накрашенным губам, а красивый загорелый мужчина наклонился к ней над столиком и слегка касался рукой ее запястья со смущенной улыбкой человека, только что сказавшего что-то утомительное. Выйдя из дома Клелии, ты первым делом видел эту фотографию. Люди на ней были слегка крупнее, чем в жизни, и, когда ты оказывался на улице, они каждый раз производили пугающе правдоподобное впечатление. На мгновение оно брало верх над чувством реальности, и несколько тревожных секунд ты верил, что люди на самом деле больше, счастливее и красивее, чем тебе казалось раньше.

Квартира Клелии находилась на верхнем этаже, и к ней вела мраморная винтовая лестница, на которую выходили все остальные двери в квартиры на других этажах. Чтобы добраться до квартиры Клелии, нужно было миновать три пролета и три двери. На первом этаже было темней и прохладней, чем на улице, но из-за окон на верхних пролетах лестничной клетки чем выше ты поднимался, тем светлее и теплее становилось. У двери Клелии, прямо под крышей, – да еще и после восхождения по лестнице – жара становилась почти удушающей. Однако вместе с тем ты чувствовал, что оказался в укромном уголке: лестница заканчивалась, и дальше идти было некуда. На площадке перед квартирой Клелии стояла большая абстрактная скульптура из плавника, присутствие которой свидетельствовало, что сюда не поднимался никто, кроме Клелии или кого-то из ее знакомых: площадки на других этажах были совершенно пустыми. Помимо скульптуры, здесь стояло похожее на кактус растение в красном глиняном горшке, а на оловянном дверном молотке висело украшение-оберег из переплетенных цветных нитей.

По всей видимости, Клелия сама была писательницей и предложила свою квартирулетней школе, чтобы здесь разместили приезжих писателей, хотя не знала их лично. По некоторым предметам обстановки можно было понять, что она относилась к писательству как к делу, заслуживающему величайшего доверия и уважения. Большой дверной проем справа от камина вел в кабинет Клелии, укромное квадратное помещение, где у большого стола из вишневого дерева стояло кожаное вращающееся кресло, повернутое спинкой к единственному окну. Помимо большого количества книг, в комнате было несколько раскрашенных деревянных моделей кораблей, прикрепленных к стенам. Изящные макеты были проработаны до мелочей, вплоть до свернутых кольцами канатов и крошечных медных деталей на шлифованных палубах, а белые паруса крупных кораблей застыли такими тугими замысловатыми полусферами, что казалось, будто в них действительно дует ветер. Если приглядеться, можно было увидеть бесчисленные, почти невидимые нити, благодаря которым паруса держали форму. Всего два шага, и за натянутыми от ветра парусами проступала сеть тончайших нитей – наверняка Клелия видела в этом метафору соотношения между иллюзией и реальностью, однако едва ли она ожидала, что ее гость подойдет на шаг ближе, как я, и коснется рукой белой ткани, которая оказалась не тканью, а бумагой, неожиданно сухой и ломкой.

Кухня Клелии отличалась лаконичной функциональностью и ясно говорила о том, что хозяйка не проводит тут много времени: один из шкафов был целиком заставлен бутылками редкого виски, в другом обнаружили коробки: две оказались пустыми, а в остальных лежали относительно бессмысленные вещи – фондюшница, котел для варки рыбы, пресс-форма для равиоли. Если на кухонной стойке оставалась хотя бы крошка, из всех щелей набегали вер-

ницы муравьев и набрасывались на нее так, словно умирали от голода. Из окна кухни открывался вид на задние стены других домов с переплетением труб и бельевыми веревками. Само помещение было небольшим и темным, и тем не менее здесь было всё, что могло понадобиться.

В гостиной хранилась внушительная коллекция виниловых пластинок с классической музыкой. Музыкальная система Клелии представляла собой несколько загадочных черных ящиков, таких невзрачных и плоских, что от них нельзя было ожидать той мощности звука, на какую они оказались способны. Клелия предпочитала симфонии: я нашла у нее собрание симфонических произведений всех крупнейших композиторов. К солирующему голосу или инструменту она относилась с явным предубеждением – в коллекции почти не было фортепианной музыки и совсем не было оперной, за исключением Леоша Яначека: у Клелии оказался бокс-сет с его полным оперным наследием. Слушать симфонии одну за другой мне показалось занятием таким же увлекательным, как полдня читать «Британскую энциклопедию», и я подумала, что, наверное, для Клелии и то и другое схожим образом воплощало объективность, которая рождается, когда во главу угла ставится совокупность частей, а индивидуальное отрицается. Этот временный отказ от личности и ее проявлений можно назвать дисциплиной или даже аскетизмом – как бы то ни было, плотные ряды симфоний в коллекции Клелии явно доминировали. Стоило поставить одну из пластинок, и квартира как будто мгновенно разрасталась в десять раз и вмещала в себя целый оркестр с духовыми, струнными и прочими инструментами.

У Клелии было две спальни, обе на удивление спартанские – маленькие, похожие на коробки; стены выкрашены в голубой цвет. В одной стояла двухъярусная кровать, в другой – двуспальная. Судя по двухъярусной кровати, детей у Клелии не было: такая мебель в комнате, явно не детской, как будто специально акцентировала внимание на том, что иначе могло бы остаться незамеченным. Иными словами, эта кровать скорее намекала на саму концепцию детей, нежели на конкретных детей. В другой спальне вдоль всей стены выстроились шкафы-купе с зеркальными дверцами, куда я ни разу не заглядывала.

Центральную часть квартиры Клелии занимало просторное светлое помещение – холл, откуда вели двери во все остальные комнаты. Здесь на постаменте стояла лакированная терракотовая статуя. Она была большая, почти метр высотой, а с учетом постамента еще больше, и представляла собой женщину, застывшую в эффектной позе с запрокинутой головой и слегка приподнятыми раскрытыми ладонями. На ней было примитивное платье, покрашенное белой краской; лицо ее было круглое и плоское. Иногда казалось, что она вот-вот что-то скажет, иногда – что она в отчаянии. Порой складывалось впечатление, будто она кого-то благословляет. Ее белое одеяние сияло в сумерках. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было часто ходить мимо нее, но при этом о ее присутствии забывалось на удивление легко. Неясная белая фигура с поднятыми руками и широким плоским лицом, выражение которого то и дело менялось, каждый раз заставляла тебя слегка вздрогнуть. В отличие от людей в окне кафе внизу, терракотовая женщина на мгновение уменьшала и углубляла реальность, делала ее более личной и сложнее выразимой.

В квартире была открытая терраса, которая шла вдоль всего фасада здания. С этой террасы, высящейся над тротуарами, можно было оглядеть соседние крыши с их обожженными, поломанными углами, а за ними – далекие, подернутые дымкой холмы пригородов. Через расселину улицы виднелись окна и террасы здания напротив. Иногда в каком-нибудь из окон появлялось чье-то лицо. Один раз на террасу вышел мужчина и выбросил что-то на улицу. Следом за ним вышла молодая женщина и посмотрела, перегнувшись через перила, что он бросил. Терраса Клелии была уединенная и зеленая: ее украшали огромные переплетенные растения в керамических горшках и развешанные повсюду маленькие стеклянные фонарики; посередине стоял длинный деревянный стол с многочисленными стульями, за которым, надо думать, Клелия проводила с друзьями и коллегами темные жаркие вечера. От солнца террасу закры-

вало огромное полотно плюща, в котором я, сидя однажды утром за столом, заметила гнездо. Оно ютилось на развилке двух толстых узловатых стеблей. В нем сидела птица, светло-серая голубка, и с тех пор я видела ее там каждый раз, и днем и ночью. Она беспокойно крутила бледной головкой с черными глазами-бусинками, час за часом неся свой дозор. Как-то раз я услышала над головой громкий шорох и, посмотрев наверх, увидела, как она встрепенулась. Она просунула голову сквозь завесу листьев и оглядела окружающие крыши. Затем одним взмахом крыльев поднялась в воздух. Я наблюдала, как она перелетела улицу и, описав круг, приземлилась на крыше напротив. Некоторое время она сидела там, воркуя, а потом оглянулась и посмотрела назад, откуда прилетела. Потом она расправила крылья, вернулась на террасу и всё с тем же с шорохом и хлопанием заняла свое обычное место у меня над головой.

Я бродила по квартире, рассматривая вещи. Заглянула в несколько шкафов и ящиков. Всё было на своих местах. Никакого беспорядка, никаких тайн: всё целое, всё там, где должно быть. Я нашла выдвижной ящик с ручками и канцелярией, ящик с компьютерным оборудованием, ящик с картами и путеводителями, картотечный шкаф для бумаг с аккуратными разделителями. Ящичек с аптечкой и ящичек со скотчем и клеем. Один шкафчик с бытовой химией и другой – с инструментами. Ящики старинного письменного стола в восточном стиле, стоявшего в гостиной, были пусты и пахли пылью. Я всё что-то искала, какую-то подсказку, следы гниения или признаки того, что в доме что-нибудь завелось, налет загадочности, или хаоса, или постыдной тайны, но ничего не нашла. Я забрела в кабинет и дотронулась до хрупких парусов.

IV

Мой сосед по самолету оказался на добрых тридцать сантиметров ниже меня и в два раза шире: познакомились мы сидя, и мне теперь было сложно соотнести с ним эти габариты. По крайней мере, у меня оставался ориентир в виде громадного носа-клюва и выдающихся бровей, которые в сочетании с вихром серебристых волос придавали ему немного комичное сходство с морской птицей. Но и то я не сразу его узнала: он стоял в тени крыльца здания напротив, в шортах по колено темно-желтого цвета и безукоризненно выглаженной красной клетчатой рубашке. Весь он сверкал золотом: толстое кольцо с печатью на мизинце, массивные золотые часы, очки на золотой цепочке вокруг шеи, и даже во рту, когда он улыбался, блестело золото – всё это сразу бросалось в глаза, и тем не менее накануне, во время нашего разговора в самолете, я ничего не заметила. Наше знакомство имело в каком-то смысле нематериальный характер: высоко над миром предметы теряют свою ценность, различия становятся не так видны. Материальность моего соседа, которая казалась такой легкой в воздухе, на земле обрела конкретику, и в результате он предстал передо мной незнакомцем, как будто контекст заключил его в рамки.

Я была уверена, что он увидел меня раньше, чем я его, но он дождался, пока я сама ему помашу, прежде чем помахать в ответ. Он казался взволнованным и поглядывал по сторонам. Рядом с тележкой, нагруженной персиками, клубникой и дольками арбуза – ртами, улыбающимися на жаре, – стоял и выкрикивал что-то невнятное торговец фруктами. Когда я перешла улицу и подошла к своему соседу, его лицо приняло выражение приятного удивления. Он сухо и неловко поцеловал меня в щеку.

– Хорошо спала? – спросил он.

Почти подошло время обеда, и меня не было дома всё утро, но он, очевидно, хотел создать атмосферу интимности, как будто мы знали друг друга давно и ничего не успело произойти с тех пор, как я попрощалась с ним накануне на парковке такси в аэропорту. Ночевала я в маленькой голубой спальне и спала на самом деле плохо. На стене напротив кровати висела картина с мужчиной в фетровой шляпе, который хохотал, запрокинув голову. У него не было лица; приглядевшись, ты видел только пустой овал с дыркой смеющегося рта посередине. Пока светлело, я всё ждала, когда же появятся нос и глаза, но они так и не появились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.